

Надежда Муравьева

## ПЛОТЬ СЛОВА

В мире есть дивные и странные слова, пришедшие в наш обыденный язык из другого мира – ставшего пылью, песком и десятком глиняных табличек. Они задержались на наших губах, переживая поколения непредставимых и далеких народов, и не утратили ни вкуса своего, ни запаха. Мы сжились с ними, они уже не представляются нам загадочными осколками древних наречий – это просто обычные слова «кипарис», «лабиринт». Эти слова, ставшие плотью греческого языка, пришли в него из языка пеласгов – ведь когда-то Эллада была их страной – Пеласгией. Странствуя из языка в язык, из уст в уста, звуки перешли в новые земли. Мы произносим «кипарис» и не думаем, сколько истаявших во времени людей произносили это слово. Еще страннее будет мысль, что со всеми этими людьми мы связаны непонятными нитями – ткань языков покрывает мир, и даже прорехи в ней повествуют о неразрывном единении одного с другим. Слово говорит нам о чем-то большем, чем слово – о тайне и предании, о динамичности жизни, ее перетекании из одного сосуда в другой; итак, эта система сообщающихся сосудов никогда не может исчезнуть, застыть, окаменеть. Мы слышим звуки других языков, облекшиеся хрупкой плотью нашего собственного, но, видя лишь фрагменты, лоскутки, не видим цельной пелены, не знаем, как прочесть текст, плывущий к нам по воде тысячелетий. Мысль о том, что все в мире едино, остается просто мыслью, не достигая наших чувств.

В жизни есть странные слова, пришедшие к нам из дальней дали. Что в этой дали? Древние царства, плотная глина мифа или воздух сна? Мы можем услышать слово и наделить его бездной значений, чувствуя, что в нем заключены смыслы, перетекающие один в другой. Это могут быть совсем приевшиеся слова, утратившие вкус тайны, связь с океаном прежних, загадочных языков. Этим словом может быть «хлеб» или «дом», или «снег», слова, в которых их хрупкая экзотичность уступила место обыденной, прозаической ясности.

Для меня таким словом стало слово «мед». В четыре года со мною произошло банальнейшее событие. Я увидела сон. На этом, собственно, банальность и кончалась, почти не начавшись – в самой ткани сна было что-то, что даже и тогда показалось мне исполненным скрытого и очень важного смысла. Я стояла под вывес-

кой. Вывеска была живая, ее образовывали танцующие и раскачивающиеся буквы – и они были слеплены из какой-то душистой пряничной плоти. Я стояла в низкой, очень зеленой траве и слушала, как все эти буквы смеялись и звенели. Они издавали мягкий, говорящий звон, который тоже пахнул, он пахнул золотистым и благодатным звуком. Я не могу разделить теперь звон и запах – они были одно. Возможно, со мной говорили капли, они падали в траву и были медовые, радостные и звучные. Они равнялись словам. Я помню ощущение меда, голос меда, запах меда и смысл меда. Мед, в своем несказанном веселии, говорил со мной, хотя я не помню ни одного слова. Их было не нужно. Я радовалась вместе с медом, и этого было достаточно.

Потом одно уже слово «мед» сразу приводило мне на память мою радость и этот говорящий, золотой аромат. Я знала, что это было больше, чем просто овальная, стеклянная банка меда, который редко появлялся в холодильнике – на дворе стояли семидесятые, и сладкого в доме было немного. Я чувствовала, что буквы, с которыми я разговаривала, были, конечно, медом, но они были и радостью, и надеждой, и упоением – чем-то таким, что запоминаешь и помнишь с ощущением причастности загадке жизни. Или просто самой жизни.

Когда в детстве мне случалось очутиться на лугу, полном больших, похожих на чайные розы, купав, мне сразу хотелось вдохнуть их, вобрать в себя, потому что я надеялась, что где-то в глубине чашечки укрылся этот запомнившийся мне аромат. Я думала: «Мед», и ожидала, что запах нежного и зовущего вдаль покоя выберется наконец из желтой середины и дастся мне в руки. Ничего подобного. Купава оставалась купавой; ее запах, немного приторный, немного слишком уж матерьяльный, отодвигал меня на довольно-таки большое расстояние от душистой сновиденной яви.

Позже, в ранней юности мне не раз приходилось искать это слово – потому что искала я именно слово, во всем сиянии его золотых смыслов – в стихах, в повседневности, во сне; я настораживалась, когда кто-то произносил «мед», потому что говорящий не знал, какую дверь он открывает этим для него пустым звуком. Я поняла, что в поэзии это слово с давних пор пытается сказать пусть не о том, что слышала я, но о чем-то похожем, как будто оно источает свой звон, независимо от того, хочет ли пишущий услышать его. Долгое «о» в середине протяжно выливалось из мягкого «м», напоминающего спокойный выдох, приглашение к уюту разостланных простынь, полей, морей и небес, к

странствию по всему этому миру, где путь и легок и высок. Зовущее, как звук поющей тибетской чаши «о», выраставшее из моря, мха и муравы, потом покойно длилось и катилось до самого последнего рубежа: до гаснущего, как закатная полоса, «д».

«Золотистого меда струя из бутылки текла / Так тягуче и долго...» И сразу становилось понятно, почему она так текла, подчиняя ухо автора своему многослойному смыслу.

Слова, которые попадались мне в русской прозе начала века, такие, как «медвяный», «медуница» примирили меня с повествованием, даже если все остальное не представлялось достойным восхищения – тягучее слово уводило меня за собой и помогало воскреснуть сладостному чувству – это было что-то, напоминавшее тоску по полноте радости, которая живет не в прошлом, а в будущем. Испанское слово «miel», которое я узнала незадолго до своего путешествия в Латинскую Америку, меня не разочаровало – в нем тоже слышался этот голос поющей чаши, зовущей пройти весь путь от «м» до тоже затихающего «л».

Иногда мне попадались аляповатые воплощения этого слова – это могли быть коричневые, блестящие пряники или желтоватые, рассыпчатые склоны гор, но все это было только молчаливым утверждением, что «мед» где-то поблизости, и по отдельности можно увидеть его цвет или вдохнуть похожий запах – больше ничего.

В Боготе, в Кайседонии, в Медельине не было ничего, даже отдаленно напоминавшего тайну меда. Небо и земля, казалось, изощрялись в многообразии теплых и ледяных красок, оттенков и звуков, но слова, равно странствию, я никак не могла найти. Иногда что-то – например, светлая грива стоящей под дождем лошади, смиренно ожидающей загулявшего хозяина, – вызывало в памяти это мягкое звучание, но только на секунду, а потом снова начинались почти бессознательные поиски. Я почти уже примирилась с невозможностью отыскать в Колумбии хоть что-нибудь, похожее на мед. Кстати, обычного, пахучего меда в банках я тоже там почему-то не встречала; должно быть, он там был, но отсутствие слова ненавязчиво сопровождалось отсутствием вязкой, прозрачной или крупичатой субстанции – не было вообще никакого признака чего-либо медового.

Мне оставалось всего несколько месяцев до отъезда (но я этого не знала), когда я решила навестить донью Элену в городе Кайседония (как потом выяснилось, в последний раз). Был месяц апрель, в воздухе

творилось оживленное трепетание, шелест, писк и разговоры. Птицы весело и со знанием дела работали от зари до зари, в отличие от людей, которые, пережив ливневую пору, без особой радости глядели на мир и на свой тихий, в общем-то, пальмовый город.

Когда донья Элена предложила мне навестить могилу ее мужа, доня Мануэля, я не особенно изумилась – донья Элена была объята той же маловыразительной тоской, что и все ее соседи, и на могилу, куда она не ездила уже года два (я знала это от Фернандо), ее повлекло заразное, но преходящее чувство одиночества и уныния. Обычно очень деятельная и шумная, донья Элена скорбно собиралась в путь, в молчании укладывая в сумку маленькие складные грабли и дюжину носовых платков. Мы поехали в машине Хайме, джипе с открытым верхом, который немилосердно пылил, скрежетал и стрекотал, с натугой ползя вверх по горной дороге, потому что кладбище располагалось высоко, в окружении ярких вершин, зарослей лаковых, бликующих на повороте кустов и несущихся вниз с огромной скоростью мелких, ледяных речушек. Когда мы вплотную подъехали к двум извилистым стволам, обозначающим заповедную территорию, потому что ни ограды, ни ворот здесь не было, я подумала, что это первое радостное кладбище, которое я вижу в своей жизни. Листья деревьев масляно сияли под солнцем, и сверху открывался какой-то умиротворенный и кротко-самодовольный вид: вдали белели стены финок, небольших поместий и ферм, без всякой натуги жарко зеленели горы, пунцовели острова мелких цветов по прозвищу «поцелуйчики», и откуда-то снизу доносилось лошадиное ржание и говор людей. Все это переплеталось со звоном двух тонких и быстрых рек, пересекавших долину подо мной, и согласным говором птиц на кладбищенских деревьях и кустах.

Мы вошли, и я увидела могилы. Это были небольшие квадратные плиты, глубоко ушедшие в землю. Все пространство было ровным и чистым; насыпей здесь никто никогда не делает, поэтому все гладкое устройство кладбища кажется спокойным и безопасным. Донья Элена, окруженная сыновьями, поспешила к одному из каменных квадратов; она поджала губы и двигалась расторопно и бойко, как человек, который знает, зачем приехал и чего от этих мест ждать.

Я решила подойти чуть позже, чтобы ей не мешать: все-таки я была чужая и могла помешать ее чувствам (если таковые были) свободно излиться. Я не знаю, что там происходило с доньей Эленой, она громко говорила что-то одному из сыновей, то ли укоряла,

то ли жаловалась. Я не знаю, потому что прямо на меня смотрело дерево. Оно стояло, немного отъединившись от всех прочих, но дело было даже не в том, что оно росло в одиночестве. Оно пылало таким живым и горячим золотом, что все остальные деревья отступали в некую тень, порожденную самой сгущенностью его теплого и ясного цвета. Гроздья шафрановых цветов ниспадали с его ветвей, которые едва угадывались под ливнем бутонов и раскрывшихся чашечек. Вся земля под ним желтела и переливалась, потому что все эти цветы сыпались в траву и укладывались слой за слоем вокруг ствола, но от этого их меньше не становилось. Золотые корзины, наполненные светом и душистым ветром, грузно оттягивали вниз стройные, почти невидимые ветви, и все дерево стояло в круглой ароматной дымке. Это был знакомый мне с детства запах. Запах меда.

Я стояла перед ним в траве, как в моем сне двадцатилетней давности, и дышала этим странным, влекущим в дальние странствия, мягким, радостным свечением. Мне почему-то пришло в голову, что само появление этого медового дерева на кладбище говорит о том, что смерти нет. Мне было трудно потом вновь пробиться к этой мысли, она была схожа с озарением, но дерево и само по себе было воплощенным озарением, золотым смыслом моего слова, пришедшего из мифов, древних царств и снов. Я постояла под ним и направилась вслед за доньей Эленой. Только у могилы я обнаружила, что все в сборе, кроме Хайме. Он довольно долго не возвращался. Донья Елена подметала плиту. Фернандо делал вид, что выпалывает пушистую траву у кромки. Я нагнулась, чтобы прочесть надпись. «Хайме», – сказал Фернандо. Я обернулась. Хайме шел к нам, обеими руками прижимая к груди ворох желтых цветов. «А, золотой ливень», – сказал Фернандо. «Это?» – сказала я, принимая у Хайме всю эту трепещущую, душистую грудку. «Это, – сказал он. – Так дерево называется». Донья Елена принялась раскладывать цветы на плите. Я помогала ей. Она осторожно выложила их ковром, покрыв весь камень. В земле засиял золотой квадрат. Когда я подняла голову, я увидела, что несколько дальних могил тоже выложены теплыми чашечками «золотого ливня». Они были похожи на небольшие молитвенные коврики. «Это традиция, – сказала донья Елена, – очень красиво».

Уходя, я еще раз посмотрела на дерево. Оно все звенело, потому что колибри со скоростью света обцеловывали его со всех сторон. Оно просто не могло ис-

чезнуть или потускнеть, потому что в нем было очень много жизни. Много меда.

Есть слова, которые мы знаем и помним. И они могут стать плотью и обитать с нами. Быть запахом, звуком и цветом. И еще чем-то, что почти невыразимо, и именно поэтому проникает в поэзию, размышления и сны, чтобы радовать нас, звать в дальние странствия и никогда не предавать, пусть даже мы сами на время и перестанем слышать в них скрытое послание дали.

